

Библиография

РИТОРИКА ФАШИЗМА

Дмитрий Колчигин

Союз свастики и софистики:

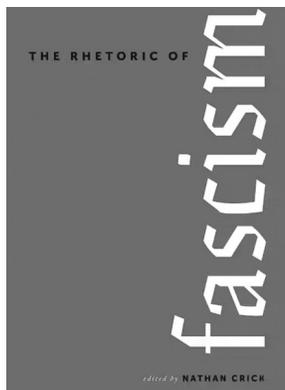
ОПЫТЫ О ФАШИСТСКОМ СТИЛЕ

DOI: 10.53953/08696365_2024_185_1_308

The Rhetoric of Fascism / Ed. by N. Crick.

Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 2022. — IX, 280 p. —
(Rhetoric Culture and Social Critique).

В классическую эпоху обучение ораторскому мастерству строилось от нравственного воспитания самого оратора. Так, Цицерон и Квинтилиан видели в совершенном ораторе совершенного человека. В более поздние времена укоренилось совсем иное — философское, идущее от Платона — отношение к риторико-поэтическому искусству как к инструменту манипуляции и обмана. Да и в античные времена, как замечал Кант, риторика возвышалась именно в те десятилетия, «когда государство быстро шло к упадку».



В XX в. кантовская мысль подтвердилась с мрачно-новатым блеском: политическая «речь без стиля» начала вдруг сменяться харизматическим радикализмом нового, фашистского типа, и для обществ, соблазненных этим типом красноречия, действительно созрел единственный его плод — упадок. Во второй половине столетия, когда фашизм считался окончательно побежденным, риторика «психологов толпы» вызывала большой академический интерес: ей были посвящены такие уже ставшие классическими труды, как «Исследование общественной функции фашистского языка» Лутца Винклера и «Как говорил и писал Гитлер: психология и просодия в фашистской риторике»

Корнелиуса Шнаубера¹. А в XXI в. вопросы фашизма, его образного ряда и риторических тактик стремительно переходят в разряд насущных проблем. В последние годы вышло сразу несколько первоклассных исторических монографий, посвященных соответствующим речевым ситуациям². К этому ряду принадлежит и сборник «Риторика фашизма» под редакцией профессора Техасского университета Эй-энд-эм Нэйтена Крика, отмеченный, впрочем, множеством специфических черт, о которых пойдет речь ниже, и построенный на синхронном сопоставлении исторических форм фашизма со значительно более поздними явлениями.

Так, первая статья — «Передел дерьма: кровавые бойни и утопии фашистов XX в.» за авторством *Нэйтена Крика* — обращается к тем давним временам, когда черное солнце фашизма едва выкатывалось из-за Апеннинских гор. В ней речь идет о статье Джованни Папини «Наша задача» (1914), малоизвестной, но, по мысли Крика, весьма представительной³. Папини призывал Италию немедленно вступить в разгорающуюся Первую мировую войну: только так, писал он, бесхребетная нация может прийти к волевому подъему. При этом он использовал характерный риторический топ, выраженный в данном случае с грубой непосредственностью, которая и делает этот пример ярким и примечательным: «...пора нам закатать рукава, — говорилось в памфлете, — и выделать наконец благородную статую из всего этого староитальянского дерьма». У Крика этот прием обозначен как «передел дерьма» (*remaking shit*) и поделен на ступенчатый ряд софистических доводов: собственно «передел», а также «именование», «формирование» и «перенаправление». Главный принцип — чередование крайностей, когда презрение и восторг, мысли о крахе и триумфе сменяют друг друга без видимых разграничений.

Интересно, что полная цитата из Папини принципиально противоречива: «...лучше всех, — сказано в ее начале, — ситуацию понимал граф Кавур: из дерьма ничего выдающегося не слепишь»; и дальше идет уже помянутый призыв закатывать рукава и делать именно то, чего как будто сделать невозможно. Крик обстоятельно демонстрирует, что подобные фрагменты — это не слабые места и не провал в фашистской риторике, а даже наоборот: это ее убедительная первооснова и один из главных инструментов психологического воздействия на массы. Фашизм «процветает на противоречиях», что значительно усложняет его характеристику как движения (само понятие социально-политического движения возникло немногим ранее фашизма) и неизменно позволяет ему ускользать. Фашизм XX в., по словам Крика, всегда говорил на два голоса: одновременно и осуждая нацию в ее нынешнем (бездуховном и униженном) состоянии, и приуготовляя ее к будущему невиданному величию. Фашистские идеологи повергают аудиторию в эмоционально неустойчивое состояние экзистенциального выбора («драматичного кризиса», по выражению Крика), где альтернативой мистическому торжеству выступает тотальное и необратимое убожество. Риторика «передела» подразумевает прославление некоего потенциала в сочетании с проклятиями в адрес реального состояния дел:

-
- 1 *Winckler L.* Studie zur gesellschaftlichen Funktion faschistischer Sprache. Frankfurt a.M., 1970; *Schnauber C.* Wie Hitler sprach und schrieb: zur Psychologie und Prosodik der faschistischen Rhetorik. Frankfurt a.M., 1972.
 - 2 Отметим книги «Диктатура риторики или риторика диктатуры» Джанлуки Педротти и «Бенито Муссолини — консенсус через мифы» Фрэнка Шумахера: *Pedrotti G.* Diktatur der Rhetorik oder Rhetorik der Diktatur: Gezeigt an ausgewählten Redesituationen von Mussolini und Hitler. Berlin, 2017; *Schumacher F.* Benito Mussolini — Konsens durch Mythen: Eine Analyse der faschistischen Rhetorik zwischen 1929 und 1936. Paderborn, 2022.
 - 3 На особое значение этой работы Папини для генезиса фашизма первым указал оксфордский профессор Роджер Гриффин (см. сб.: *Fascism / Ed. by R. Griffin.* Oxford, 1995).

по существу, речь идет о внушении массам управляемых фрустраций, стыда и гнева, разрешающихся в нужную для фашистов сторону. «Таким образом фашизм рационализует идею разрушения мира ради спасения мира, оправдывает насилие, скверну и погибель во имя гармонии, красоты и возрождения в будущем» (с. 15).

Фашистская риторика сознательно подстраивается под ситуации социально-экономического кризиса (в отдельных случаях этот кризис может быть результатом политики самих фашистов) и канализирует чувство страха и неуверенности при помощи мифа о возрожденческом переделе дурного миропорядка («при помощи расплывчатых концепций вроде “власти”, “служения”, “чести”, “долга”, “родины” или “расы»» (с. 18)). Чтобы призвать нацию к великой жертве, фашистский оратор рисует, с одной стороны, утопическую картину будущего (подкрепленную чаще всего героизированным образом «золотого века», славного прошлого, потерянного рая; в этом смысле можно говорить о риторической диахронии), а с другой — отталкивающую картину настоящего. Этот последний троп, призванный мобилизовать фашизированную публику на борьбу со внешними и внутренними врагами, у Крика обозначается как «именование дерьма» (naming shit) и рассматривается на примере публицистических опусов Артура Кеннета Честертона (1899—1973), главного редактора газеты «Чернорубашечник», издававшейся Британским союзом фашистов. Так, статья Честертон «Духовный тиф» (1936) одновременно атакует все границы политического спектра: это антикоммунистический, антидемократический, антиконсервативный и антилиберальный листок, полнящийся разного рода анамнестическими оборотами (общество и элиты поражены «тифом», «гноем», «раком», «неврозом» и т.п.). Нагромождение разносторонних выпадов и апокалиптических образов разрешается у Честертон достаточно прямолинейным и безыскусным призывом: возвращаться к «мужественности» и строить «объединенное фашистское государство». Как отмечает Крик, полное отсутствие какой бы то ни было позитивной программы и чисто лозунговое решение вопросов — это опять же характерная стилистическая особенность текстов такого рода: типичная для фашистской пропаганды иррационализация общественного порыва, когда самоцелью является действие, а не осознание; некий обобщенный и смутно мифологизированный труд («общее дело») возвышается над любой этикой и рефлексией. Здесь Крик отсылает к Ханне Арендт и концепции «деятельной жизни»: тоталитарное общество зарождается в том случае, когда, в терминах Арендт, парадигма «обмена веществ человека с природой» проецируется на политическую деятельность, исторические события и взаимодействие между людьми: общество принимает черты сырой «массы», материала, готового к переработке по тому образцу, что задуман руководителями.

Риторическим образцом здесь предстает статья Джованни Джентиле «Что есть фашизм?» (1925; к тому времени автор уже был видным деятелем муссолиниевского правительства). Начинается она с изложения типологических мифологем о величии Рима и слиянии будущего с прошлым в безвременной славе; интереснее то, с какой риторической отчетливостью выражается здесь бескомпромиссная и внеморальная природа фашистского «великого делания», призванного приблизить «униженную» нацию к имперскому идеалу: фашизм, пишет Джентиле, бесконечно упрекают за варварство, но этим варварством нужно гордиться, ведь речь идет о жестоком и насильственном высвобождении «здоровых трудовых сил»; от народа требуется исключительно «фабрикация»: безостановочный труд, преобразование жалкой материи настоящего. Текст Джентиле примечателен своей откровенностью: прямо сказано, что труд этот скорее деструктивный («сокрушение злых идолов»), а также монотонный («нет времени для веселья») и бездумный («коллективное и государственное сознание» полностью подменяют индивидуальное осмысление происходящего). По существу, нация как раз и является тем мате-

риалом, который нуждается во внешнем переделе и — под разговоры о волевом пробуждении — пассивно полагается то к алтарю, то к наковальне.

Программная статья Крика завершается довольно неожиданно. Рассмотрев фашистские топы в их классическом виде, то есть в контексте исторического фашизма начала и середины XX в., автор подступает вдруг к Новейшему времени и современности: так, по его мнению, устоявшийся трампицкий оборот о «возврате былого величия» также следует рассматривать в свете постфашистской или даже собственно фашистской риторики. Здесь усматривается концепт утраченной национальной славы, подразумевающий пессимистическую оценку настоящего и призыв к прорыву в возрожденческие эмпирии завтрашнего дня. Если в речах самого Дональда Трампа лозунг «Make America Great Again» (в правых кругах чаще всего ходящий под акронимом MAGA⁴) используется бессистемно, в провокационном и отчасти ироническом употреблении⁵, то у некоторых его сторонников из числа радикальных правых концепт выстроен от начала и до конца. В качестве образцового примера Крик приводит речь влиятельного американского неонациста Ричарда Спенсера, основателя «Института национальной политики» и организатора погромного марша «Правые — вместе» в Шарлотсвилле (2017). Спенсер называет MAGA «одухотворяющим прамифом» и подробно останавливается на той удивительной амбивалентности, которая, по словам Крика, «позволяет свободно играть и на отчаянии, и на надежде, и на ненависти, и на любви, на полном осуждении и полной вере одновременно» (с. 30). Анализируя речь Спенсера (датированную 2016 г. и озаглавленную: «Да здравствует император!»), Крик выделяет в ней все четыре риторических инструмента: от клеймения современного общества, «больного и отвратительно-го» — через моделирование оптимистических мечтаний о «той расе, что грезит только о великом», и перенаправление исторических сил «детьми солнца» — к чистому вождизму и боевому кличу: «Слава Трампу! Слава нашему народу! Слава победе!»⁶

Тему продолжает *Стивен Хартнетт* в статье «Фашизм как политический стиль», представляющей собой своеобразное сравнительное жизнеописание: в ней речь идет о прямых параллелях в политической культуре двух стран, двух эпох и, главное, двух харизматических лидеров — Бенито Муссолини и Дональда Трампа. Хартнетт подходит к вопросу критически и в первую очередь признает, что само слово «фашизм» в XXI в. часто применяется некорректно и во многих случаях становится инструментом политической борьбы, ярлыком или журналистским преувеличением. Рассматривая двусторонние ряды аргументов — тех, кто отождествляет трампизм с фашизмом, и тех, кто против такого отождествления, — Хартнетт заключает: утрированная демонизация построена главным образом на (явно избыточных) параллелях с германским нацизмом, в то время как фашизм в его романском изводе дает материал для сопоставлений исторически более корректных и в прогностическом смысле более плодотворных.

Методически автор опирается на исследование Роберта Харимана «Политический стиль: артистичность власти» (1995), где были выделены четыре стиля

-
- 4 Отдельное исследование можно было бы посвятить приверженности неофашизма разного рода усечениям, шифрам, гематрии, нумерологическим и словесным кодам. Отчасти это, конечно, объясняется конспирацией, но во многих случаях просматривается и типичная для фашистских течений связь с эзотерическими практиками.
 - 5 Крик особо отмечает игровое, полупушутливое и коммерческое употребление той же формулы, разобранной уже на иронические парафразы и торговые марки (с. 28).
 - 6 Сама концепция победы исключительно важна для любого фашистского дискурса: от простого лозунга «Фашизм — это победа Италии», провозглашенного в «Il fascio» еще в 1921 г., до витиеватых рунических ставов с буквой «зиг» и сакрализации понятия об «окончательной победе» (Endsieg) в поздних речах Геббельса.

современных политических выступлений: «реалистический», «придворный», «республиканский» и «бюрократический». Фашистский стиль, унаследованный трампизмом, составляет, по Хартнетту, комбинацию всех четырех (комбинаторная, разнородная природа фашистского стиля отмечается в сборнике повсеместно, разными авторами и на разных примерах⁷): от реалистического стиля он берет идею о «естественном состоянии» (по Гоббсу) как о жестоком столкновении с реальностью; от придворного — возвышение лидера и его политических жестов как «тела суверена»; от бюрократического — коллективность без личной ответственности; что же касается республиканского стиля (речь, очевидно, идет о республиканском Риме), то от него, по мнению Хартнетта, фашизм заимствует саму свою одержимость ораторством, эффектными устными выступлениями. Сопоставляя речи Муссолини и Трампа, автор выделяет четыре характерных тропа, каждый из которых соотносится с одним из четырех стилей: «кровавая бойня» (политическая жизнь описывается как воинственное, варварское противостояние непримиримых сил, которые невозможно усмирить воззваниями к демократическим или парламентским нормам), «предательство» (у развернувшейся политической «бойни» есть причина, и это власть «либералов», которые в свое время отвернулись от национальных интересов к вящей пользе некоего внешнего врага), «мужество» (распадающаяся из-за предательств страна нуждается в неустрашимом авторитарном спасителе, являющемся в подчеркнутом маскулинном образе) и «видовая номенклатура» (клеимение врагов и отщепенцев, призванное подкрепить чувство вражды и национального предательства).

Каждый из тропов рассматривается в статье на множестве примеров. Риторика Муссолини и Трампа, безусловно, отмечена некоторым сходством, и все же фашизм XX в. как конечный, радикализованный продукт модерна (см. с. 15—19) подразумевает видоизменение реальности, мобилизацию общества и безмерную концентрацию власти, в то время как трампистское движение заимствует скорее внешние черты фашистского властвования (иногда в каком-то трагикомическом духе), но при этом не имеет возможности переломить устоявшиеся демократические институты, видоизменить массы и радикально перенаправить внутренне-политический курс страны. Так, отмечая зияющий разрыв между фашистским образом величия и тотальной некомпетентностью фашистского государственного управления, Хартнетт описывает Италию в последние муссолиниевские месяцы: «Нацисты вторглись на итальянский север, а союзные войска продвигались с юга; на землях между двумя армиями полыхала гражданская война... Голод был такой, что пояса затягивали до последних дырок, которые в народе тогда прозвали “дырками Муссолини”». Стояла полная разруха... будто страну поразила вдруг средневековая чума» (с. 49). Очевидно, что подобные последствия фашистского правления возможны только в условиях тоталитаризма, без какого бы то ни было общественного контроля, без механизмов институционального сдерживания; трамписты, разумеется, находились в принципиально иной ситуации, и в связи с этим встает принципиальный вопрос, в статье, увы, не рассмотренный: насколько возможен

7 Здесь можно вспомнить античные представления о чистых (благородных) и смешанных (низких) стилях. Лишь в раннем Средневековье смешанный стиль вошел в риторический канон, чтобы затем многократно отпадать и вновь возрождаться вплоть до романтических времен, когда стилистические контрасты окончательно оформились как литературная норма. Фашистские течения начала XX в. не раз пытались (с переменным успехом) сличить с более ранними романтическими; над всеми этими попытками можно поставить мистико-стилистическое кредо из Плутарха: «Единое — непорочно и чисто; а при смеси одного с другим образуется миазма».

фашизм без тоталитаризма?⁸ Если принять и признать все аргументы и исторические параллели автора и в политическом смысле отождествить Трампа и Муссолини как некомпетентных доктринеров, то, как мы видим на практике, выводы можно сделать исключительно любопытные. Окажется, что фашизм, даже когда он венчает собой высшую государственную власть, может быть обуздан социальными противовесами, сдержан при помощи устоявшихся демократических норм и естественным образом, через выборы, выведен из управления страной — без глобальных потрясений, интервенций, гражданской войны⁹. Фашисты былых времен в большинстве случаев отстранялись от власти насильно, и чаще всего — через военное поражение с последующим переустройством страны. (Кстати, возможен ли фашизм без войны — тоже большой вопрос.)

Если и рассматривать трампизм как подвид фашизма, то фашизм этот оказывается крайне специфическим, прямых исторических аналогов не имеющим. Хартнетт ограничивается чертами риторического сходства и ничего не пишет об уникальности этой американской истории (столкновения риторик, в котором фашизм возвышается, но притом не имеет последнего слова), а между тем именно это могло бы послужить ценной пищей для размышления о фашизмах XXI в.

Многие вопросы, остающиеся после прочтения статьи Хартнетта, проясняются в следующей статье — «Фашистском спектакле» *Зака Гершберга* и *Шона Иллинга*. И в целом книга построена так, что тема разворачивается постепенно, как бы углубляясь и расслаиваясь; в этом смысле перед нами скорее коллективная монография, чем сборник статей. К вопросу о композиции книги мы еще обратимся, а пока вернемся к статье Гершберга и Иллинга, которые, во-первых, затрагивают вопрос о взаимоотношениях фашизма и демократии, а во-вторых, вводят понятие о «нереализованном фашизме», не сумевшему стать авторитарным.

«Фашизм, — утверждают авторы, — может возникнуть только из демократии... Этот феномен правильнее всего рассматривать как врожденную патологию демократического строя» (с. 58). Зарождение фашистской социально-политической структуры напрямую связывается здесь с «условиями открытого сообщения», со свободой слова и коммуникации, которые для всеобщего пользования предоставляют демократический строй. Пользуясь инструментами демократии, фашизм укореняется в общественном сознании и, перенаправляя средства коммуникации, разлагает и диффамирует демократическую систему в самых ее основах. Так, фашизм первой четверти XX в. — это побочный продукт послевоенных демократических реформ, открывших для народов Европы свободную прессу, общедоступное радио и народный кинематограф. В конце XX — начале XXI в. медиатехнологии совершили еще один качественный рывок: появилось общественное спутниковое телевидение, интернет проник во все сферы социальной жизни, развились социальные сети и технологии «умных» устройств, и наряду с позитивными изменениями эта новая социальная парадигма содержит в себе все рычаги для «риторического» злоупотребления.

Гершберг и Иллинг призывают разграничивать фашизм и авторитаризм: последний не более чем канал, посредством которого фашизм может реализовыв-

8 В дальнейшем, как мы еще увидим, другие авторы к этому вопросу все-таки обратятся. Впрочем, если фашизм — это стиль (а ответ заключается, упрощенно говоря, именно в этом), то в любом случае где-то должна проходить граница со стилизацией.

9 Можно вспомнить штурм Капитолия в январе 2021 г. (в обсуждаемом сборнике, кстати, не упомянутой), но, это все же достаточно изолированный инцидент, не сопоставимый с теми национальными потрясениями из европейского прошлого, что рассмотрены или упомянуты в книге.

ваться, дорвавшись до власти. Из-за их ошибочного отождествления фашизм постоянно ускользает и уворачивается, его не удается выявить и осудить до того критического момента, «когда он уже становится государственным» (там же). Пусть властвующий фашизм традиционно отличается жесткостью управления, сама эта идеология исключительно подвижна и способна подстраиваться под разные условия. Более того, фашистские течения не составляют даже идеологии как таковой: эксплуатируя демократические медиаплатформы, фашизм кристаллизуется как антидемократическое движение, канализирующее народные фрустрации. Пользуясь терминологией Ги Дебора¹⁰ и, очевидно, Симонетты Фаласка-Дзампони¹¹, авторы называют фашистскую политику спектаклем и выделяют в этом спектакле три действия: 1) изобретение мифа о национальном величии и выражение этого мифа устами харизматического лидера; 2) сокрушительную волну пропаганды в открытых средствах массовой информации, расшатывание культурной и политической обстановки; 3) крестовый поход против демократических институтов, построенный на критике всех совещательных норм как неэффективных и антинародных. Каждая из стадий подробно анализируется, причем все примеры берутся из итало-немецкого фашизма, и в этом смысле весь раздел об актах большого пропагандистского «спектакля»¹² можно считать историческим.

-
- 10 Главная цитата из его «Общества спектакля» (1969), касающаяся нашей темы, приводится в книге частями и не складывается в целое. Выглядит она следующим образом: «Фашизм <...> сам по существу идеологическим не являлся. Он был тем, за что себя выдавал: насильственным восстанием *мифа*, требующим сопричастности к обществу, определяющемуся архаическими псевдоценностями расы, крови, вождя. Фашизм — это *технически оснащенная архаика*. Его разложившийся мифический *эрзац* и воспроизводится в зрелищном контексте наисовременнейшими средствами психологической обработки и конструирования иллюзий» (Дебор Г. Общество спектакля / Пер. с фр. С. Офергаса и М. Якубович. М., 2000. С. 67. Курсив автора). Можно заметить, что Дебор пишет о фашизме в прошедшем времени (он «оказался и наиболее дорогостоящей формой поддержания капиталистического порядка» и «ему пришлось покинуть авансцену... его заменили более рациональными и устойчивыми формами этого порядка») и в целом считает его явлением исторически завершенным. Не вступая в полемику с ним и оставаясь примерно в том же понятийном поле (хотя и без социалистической окраски, для Дебора, впрочем, ключевой), Гершберг и Иллинг смотрят на проблему иначе и считают «фашизм новой волны» гораздо более жизнеспособным, чем полагал Дебор. Речь, очевидно, идет о том, что прорыв в мифологизированное иррациональное всегда зияет манящими безднами, и этот опыт для народа невозможно просто заменить «более удобными» формами капитализма.
- 11 См. ее известную книгу «Фашистский спектакль»: *Falasca-Zamponi S. Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini's Italy*. Berkeley; L.A., 1997; ср. также стихотворение Бертольда Брехта «Запрет театральной критики» (1937). Само понятие, скорее всего, восходит к словам Муссолини: в 1935 г., прославляя им же развязанную Итало-эфиопскую войну, он называл эту кампанию «грандиознейшим зрелищем» (*spettacolo più gigantesco*). Весьма примечательно, что характеристикой всего фашизма как такового авторы сделали этот муссолиниевский эпитет, изначально примененный к войне. Несмотря на предпосылки Гершберга и Иллинга — война, геноцид, империализм и экспансия, утверждают они, сопутствуют фашизму, но не составляют его ядра, — основное содержание «реализованного» фашизма так или иначе воплощается в виде войн, и именно военную риторику, в книге затронутую лишь отчасти, следует рассматривать как квинтэссенцию фашистской риторики в целом. Здесь можно вспомнить манифест Томмазо Маринетти «Война прекрасна», проанализированный Вальтером Беньямином.
- 12 Еще диссеминация фашистской идеи называется в книге (со ссылкой на Умберто Эко) «игрой», в которую «играют по разным правилам, но всегда с одной целью» (с. 59). Здесь, как кажется, можно поставить этический вопрос: корректно ли это —

Обзорная часть статьи позволяет авторам сделать несколько обобщающих выводов о так называемом фашизме новой волны. С их точки зрения, фашизм «существует не в качестве определенной политической платформы, а скорее как непрерывающийся политический спектакль, разыгранный на базе националистического мифа и поддержанный непреодолимым объемом информационного давления. Фашизм, другими словами, функционирует как ряд техник внутри массовых демократических коммуникаций и работает на подрыв этих коммуникаций изнутри» (с. 68). В современном мире, отмечают авторы, с фашизмом часто отождествляют популизм как таковой, для более же точного политического диагноза они призывают разграничивать эти понятия: в отличие от размытого популизма фашизм пользуется тремя конкретными «игровыми» приемами, перечисленными выше¹³.

Опираясь на это разграничение, авторы возвращаются к теме трампизма: Трамп, пишут они, строго следовал именно этой игровой парадигме как в ходе избирательной кампании, так и в период президентства. Возражения решительно отвергаются. Так, приводится мнение Роберта Пакстона, предлагавшего в 2017 г. более традиционный подход к пониманию фашизма и призывавшего не разбрасываться «токсичными политическими ярлыками»; трампизм, по словам Пакстона, гораздо проще истолковать в плутократическом и корпоративистском понятийном круге, не прибегая к демонизирующим историческим параллелям. Гершберг и Иллинг возражают: тоталитаризм, война и геноцид — это плоды фашизма, но не его корни; все, даже пока еще сравнительно мягкие режимы, которые соответствуют трем указанным риторическим критериям, следует немедленно признавать фашистскими на этом одном (формальном, но и достаточно определенном) основании. «Да, Соединенные Штаты не стали при президенте Трампе фашистским государством, но фашизм функционирует как движение вне зависимости от того, установлен тоталитарный режим или нет. Фашизм — не какое-то призрачное зло, и от этих представлений следует отказаться, — это скорее всепроникающая кампания, призванная насаждать спектакль» (с. 73).

«Фашистский спектакль» — статья весьма спорная. С одной стороны, в ней вводятся конкретизированные критерии, по которым фашистские течения XXI в. могут быть выявлены на ранних стадиях пропагандистской кампании. Фашизм новой волны — уклончивый в формулировках, мимикрирующий и примеряющий любые исторические маски, кроме собственно фашистских, — часто избегает прямого изображения, размывая все политические границы и пользуясь разногласиями в дефинициях. В этом смысле саму идею о выработке четких стандартов фашистского «нарратива» можно было бы только приветствовать. Не исключено, однако, что на практике достижениями политологической науки немедленно злоупотребят те же

кодировать катастрофу XX (и, судя по всему, XXI) столетия в увеселительных терминах, не работает ли это на усыпление бдительности? Как представляется, авторы вводят «игровые» понятия, чтобы в конечном итоге увязать свою концепцию с «нереализованным фашизмом» Трампа и его карнавальными техниками, но основная, иллюстративная часть текста все же посвящена системам более зловещим.

- 13 Взаимоотношения фашизма с публикой авторы книги рассматривают в одном ключе: фашистский оратор активен, он формирует публику, а она под него пассивно подстраивается. Но есть у этого и обратная сторона. Почему фашистская пропаганда, модельная и однообразная, вновь и вновь охватывает умы? В чем сущностная взаимосвязь фашиста и массы, как масса производит фашиста и как фашист чует ее скрытые помыслы? По-видимому, успех фашистской пропаганды во многом связан не с профессионализмом и высоким уровнем исполнения, а с тем, что она проговаривает и легитимизирует нечто вытесненное, полусознательное. По Канту, всякая риторика призвана «эксплуатировать человеческие слабости».

фашисты с целью стигматизации своих оппонентов, вновь погружая всю систему в хаос и всячески сбивая избирателя с толку. Кроме того, сами критерии, выработанные авторами, в значительной степени подстроены под специфическую ситуацию в Соединенных Штатах: историческая часть статьи представляет собой, по существу, гитлеровско-муссолиниевский контекст для отдельно стоящих выводов. Например, вторая из черт фашизма — использование свободы слова для вербовки сторонников — скорее разъединяет исторические примеры с фашизмом новой волны: при всей эксплуатации открытых источников ни Национальная фашистская партия Муссолини, ни гитлеровская НСДАП так и не смогли прийти к власти выборным путем, в обоих случаях фашисты прибегали к насильственным и незаконным действиям («походу на Рим», шантажу президента фон Гинденбурга, поджогу Рейхстага; в нацистской историографии воцарение гитлеровской партии открыто называлось захватом власти). Не рассмотрен и вопрос ухода фашистов от власти (в том числе вопрос о том, с какими риторическими приемами сопряжен этот необычный процесс), а это, как отмечалось выше, едва ли не важнейший момент, заставляющий в американском случае значительно переосмыслить привычную систему представлений.

Как бы то ни было, статья Гершберга и Иллинга входит в синергетическое взаимодействие с предыдущими статьями: все вместе они рисуют целостную и внутренне непротиворечивую картину, которая, конечно, нуждается в разного рода внешних уточнениях. К этому корпусу принадлежат и две следующие крупные статьи. Первая — «Поэтизация насилия» *Элизабет Эрл* — посвящена традиционно для фашизма мистическому возвышению разного рода насилия и строится на материале нескольких работ Хосе Примо де Риверы, основателя Испанской фаланги. Вторая, за авторством *Патрика Д. Андерсона*, касается одного конкретного риторического приема: «укрывать империю»; он рассматривается на примере полемики двух американских социологов времен холодной войны — Чарльза Миллса (1916—1962) и Дэниела Белла (1919—2011).

Свою «Фалангу» Примо де Ривера называл «поэтическим» движением. Сохранилось множество свидетельств и воспоминаний (в том числе, как показывает Эрл, от политических противников Примо де Риверы), из которых следует, что основатель испанского фашизма, «самый приятный человек в Мадриде» (характеристика из британской прессы), был в личном общении тихим и мягким человеком, большим почитателем и знатоком поэзии. При этом его публичная ультра националистическая риторика строилась на призывах к жестким действиям, ниспровержению порядков, насилию и войне. От этого слияния двух начал, пишет Эрл, родилась специфическая риторическая стратегия: поэтика войны (как прорыва к национальной мечте), романтизация и символизация актов насилия (как атрибутов высокого героизма), эстетизация смерти (как патриотической жертвы и шага к духовному возрождению). Отметим, что очевидными первопроходцами в этом отношении были не испанские, а итальянские фашисты: стоит вспомнить хотя бы так называемых сансеполькристов 1919 г. или знаменитую речь Габриэле д'Аннунцио 1915 г.¹⁴ Тем не менее Эрл настаивает на особой роли Примо де Риверы, тексты которого если и не лежат в основе этой традиции, то, во всяком случае, отличаются особой техникой: интенсивным чередованием идиллических картин и речей о настоящей любви с ненавистническими выпадами и чувственной пропагандой насилия.

И это действительно интересно: бесконечные призывы к бою, к излиянию «веками накопленного гнева» перемежаются у Примо де Риверы рассуждениями

14 Были в ней, например, такие слова: «Если призывать народ к насилию — это преступление, то я этим преступлением упиваюсь». О Компьенском перемирии 1918 г. д'Аннунцио говорил: это несчастье, после которого «засмердело миром».

о руссоистской мировой душе, братской взаимопомощи и безграничной нежности. Лишь поэты, заявлял он, способны направлять народ, и фашизм — это «поэзия надежды». Пропаганда фалангизма (например, в не упомянутой у Эрл, но показательной толедской речи 1934 г.) сулила «счастливую и достойную жизнь в физическом и духовном здравии» и одновременно отрицала какую-либо ценность этой жизни, призывая без колебаний ею жертвовать, ведь она «ничего не стоит без великого дела», без «имперского орла»¹⁵. Примо де Ривера — как католический консерватор — регулярно ссылался на образы и аргументы из христианской традиции, пользуясь цитатами и парафразами из Отцов и учителей Церкви; фашисты, провозглашал он, строят «беспощадный рай, у врат которого встанут ангелы-меченосцы»¹⁶. Сам Примо де Ривера беспощадного рая не пережил и был казнен на одном из этапов гражданской войны; это, впрочем, позволило фашистам под руководством Франко еще больше радикализироваться. От власти «Фалангу» удалось окончательно оторвать лишь в 1975 г.

Вообще говоря, не лишним было бы филологическое исследование, в котором прослеживались бы корни фашистской ритуализации и риторизации насилия. Эрл в рамках своего обзора ограничивается рассмотрением политических предпосылок и социальных последствий такой риторики. По-видимому, отчасти поэтизация насилия отсылает, как и многое в фашистском дискурсе, к архаичным обществам с их натурпоэзией эпического толка; с другой стороны, в фашистском варианте этой поэтики явно прослеживаются, несмотря на всю одержимость фашистов «здоровьем», элементы болезненного декадентства, очевидно поздние и ни в каком виде не свойственные примордиальной традиции. Эрих Ауэрбах утверждал, что вся традиция любовной поэзии в Новое и Новейшее время принципиально восходит к средневековой эстетике страстей Христовых; отсюда же и само позднейшее возвышение темы любви как «розы и креста», «Радости-Страдания» (А. Блок). Рассуждения д'Аннунцио о «священной крови», фиксация Примо де Риверы на теме «страстной любви», которая гонит фалангистов на смерть и смертоубийство, само понятие о «фашистских мучениках» (*i martiri fascisti*) и т.д. — многое в фашистской риторической традиции явно примыкает к той же образно-эстетической системе. Это вопрос для отдельного рассмотрения, которое могло бы расширить и углубить наши представления о фашистской риторике.

Свои речи Примо де Ривера завершал одним и тем же лозунгом: «Испания, воспрянь!» Как можно заметить, формулы, связанные со вставанием, поднятием с места, разгибанием спины или колен очень характерны для фашистских режимов самого разного толка (еще в 1941 г. это пародировалось в пьесе Эльзы Ласкер-Шюлер «Я-и-я»)¹⁷. Рано или поздно формулы эти неизбежно свяжутся с экспансией, империалистическими войнами и походами против «внутренних врагов» (троп предательства, по Хартнетту). Впрочем, образ фашистского государства как освобожденного Прометея, диктующего свой порядок по праву сильного, работает не всегда. И вообще, поэтизация насилия — метод довольно яркий, но далеко не единственный в арсенале оправдывающих агрессию. Нередко, особенно в случае с публикой неубежденной и колеблющейся, пропагандисты и апологеты насилия прибегают к другой риторической технике, и ей целиком посвящена статья Патрика Д. Андерсона «Укрывательство империи» («Obfuscating the Empire»).

15 *Primo de Rivera J.A. Obras. Madrid, 1971. P. 176, 177.*

16 *Ibid. P. 570.*

17 Нелишними в рассматриваемом сборнике были бы морфологические разделы, в которых риторическая типология фашистского образа раскладывалась бы на ряды конкретизированных формул и оборотов.

Техника эта состоит в том, чтобы, с одной стороны, обосновать неизбежность, спровоцированность агрессии и, с другой — изобразить воюющую нацию уже не как своевольного сверхчеловека, прокладывающего мечом дорогу в будущее, а скорее как щитоносного защитника, чуть ли не миротворца, который вынужден по внешним причинам отстаивать свои жизненные интересы. Как известно, к образам и аргументам из этого ряда постоянно, со вторжения в Чехословакию и до первых стадий Второй мировой, прибегали немецкие нацисты. Достаточно сказать, что даже ключевая гитлеровская концепция «жизненного пространства» на этом историческом этапе перетолковывалась в менее экспансионистском духе, а основной целью провозглашалась защита этнических немцев, «угнетаемых» на западнославянских землях; уже позднее, с провалом блицкрига и нарастающим количеством военных неудач, риторика заметно ожесточалась. Такой подход, как показывает Андерсон, в целом характерен для империалистических режимов Новейшего времени: если риторический алгоритм «поэтизации насилия» подразумевает проактивное восхваление имперских амбиций, то вторая маска фашистского оратора, «укрывательство империи», — это ложное миролюбие и реактивизм.

Статья Андерсона построена на глубоком анализе целого ряда работ Дэниела Белла, одного из крупнейших американских социологов второй половины XX в., и его полемики с Чарльзом Миллсом, критиком американского милитаризма. В своей знаменитой книге «Властвующая элита» (1956) Миллс утверждал, что победа во Второй мировой привела к реструктуризации американской государственности с заметной тенденцией к объединению корпоративных элит, политического класса и оборонного истеблишмента в целом, результатом чего стали зарождение консолидированной «правящей элиты» и империалистическая «экономика перманентной войны»¹⁸. В этом Миллс находил сходство с фашистской организацией власти. По словам Андерсона, Миллс тяготел к «структуралистскому» пониманию фашизма: в его представлении это любая политическая система вне зависимости от идеологии, отмеченная, во-первых, координацией триединой правящей элиты (политической, экономической, военной), которая целиком присваивает в стране монополию на власть, богатство и насилие, а во-вторых — империалистической внешней политикой, основанной на военной агрессии, будь то территориальные войны или насаждение сфер влияния¹⁹.

Основные контраргументы Белла представлены в сборнике «Конец идеологии» (1960)²⁰. Андерсон выделяет три аргументационных кластера, на которых стоит тактика вуалирования, призванная сгладить и скрасить империалистические тенден-

18 См.: *Миллс Р.* Властвующая элита / Пер. с англ. Е.И. Розенталь и др. М., 1959.

19 Для полноты картины укажем, что в сборнике есть еще статья Мари-Одиль Хобейки «Водружение флага», посвященная крайне необычной стороне проблемы: постколониальному фашизму и конкретно ливанскому праворадикалу Пьеру Жмайелю, основателю христианского фалангистского движения «Катаиб». Как показывает Хобейка, антиимпериалистическая, антиколониальная, антифранцузская идеология ливанской фаланги строилась, по существу, на империалистических концептах (миф о «финикийстве», то есть об историческом праве этнических ливанцев на обширные ближневосточные территории) и колониальных принципах (идея о главенствующем положении христиан-маронитов). В 1936 г. Жмайель присутствовал на открытии берлинской олимпиады и, по его воспоминаниям, был так впечатлен нацистскими порядками, что собственную партию выстраивал уже по образцу НСДАП. При всей его ориентации на деколонизацию и независимость «Катаиб» опирается на худшие примеры из европейской истории; результат профашистской политики неизменен: Пятнадцатилетняя война, начавшаяся с покушения на Жмайеля в 1975 г.

20 *Bell D.* The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. Glencoe, IL, 1960.

ции. Первый прием заключается в следующем: если общество и государство подвергаются очевидному реформатированию и отрицать срастание политэкономических стратегий с военными просто невозможно, то всю эту систему можно объявить ответной реакцией на действия внешнего противника. Так, Белл утверждал, что с 1946 г. внешняя политика Соединенных Штатов ничуть не отражала желаний, потребностей и намерений правящего класса, концентрация и демонстрация военной мощи «целиком определялись действиями Советской России». Речь идет о вынужденном поведении, которое от начала и до конца детерминировано внешними обстоятельствами: «...идею, что внутри Соединенных Штатов есть какие-то классы или группы, намеренно концентрирующие власть за счет своих граждан или других стран, Белл отвергает категорически... Нарастание военной мощи и разветвление глобальной сети военных баз подаются как реакция на советскую угрозу, а не как воплощение имперских расчетов» (с. 159). Второй ряд оборонительной аргументации Белла выстроен вокруг фигуры американского президента — Андерсон называет это «конституционным контекстом». Решения относительно войны и мира, писал Белл, принимаются не внутри властвующей элиты, не правящими кругами в широком смысле, а президентами — конкретными людьми, имеющими на то конституционное право; внешнее соблюдение конституционной процедуры полностью, во-первых, легитимизирует любые решения власти, а во-вторых, исключает имперские замыслы элиты как таковой. В последнюю очередь Белл обращается к доводам «от экспертного сообщества»: если для Миллса полное отстранение общества от принятия ключевых решений является признаком фашизации, то для Белла это признак «технократического реализма»: общество само по себе не в состоянии такие решения принимать от недостаточной своей компетентности, исторические решения можно доверить лишь осведомленным профессионалам со специальной подготовкой.

Третий аргумент удивительным образом противоречит второму (Андерсон это, кажется, не замечает): либо вопросы войны и мира единолично разрешаются президентом, и тогда это вождистская система, либо процессом все же управляет некое экспертное сообщество. Во втором случае государственные решения в общем предопределены (сам Белл даже не называет их решениями: это «тенденции», «детерминации»²¹), и речь идет только о волеизъявлении самих экспертов (которые, таким образом, принадлежат к правящей элите или даже ее составляют — положение Миллса скорее подтверждается, чем опровергается).

Можно заметить и еще один интересный момент в риторике «укрывательства империи». Особый раздел статьи посвящен систематическому (и даже механическому) воспроизводству определений в текстах Белла — Андерсон именует это идеограммами: любую критику Белл называет (в десятках примеров) «неоднозначной», а любой объект критики — «сложным». Война, общественные отношения, политическая система — это явления «сложные», многогранные, а критика всегда касается чего-то конкретного, и в этом смысле она «неоднозначна» даже в своей правоте, так как она затрагивает лишь частность²². Это крайне популярный прием

21 Андерсон прекрасно показывает, что для этого типа криптоимперской риторики характерно использование пассивных формулировок, по которым все оказывается вынужденным, ответным, неизбежным, зеркальным, пропорциональным и т.д. Вообще по части анализа лексики статья Андерсона безусловно выделяется среди прочих и дает пример «лингвистической» политологии, способной «ловить на слове». В том, что касается популистского ораторства, такой подход кажется особенно плодотворным.

22 И дальше: поскольку охватить «сложный» феномен единым критическим суждением невозможно, то, в сущности, он вовсе неприступен. (Комплексная критика в любом случае дробится на частные тезисы и отвергается по принципу *qui nihil probat, nihil probat.*)

«пустой» аргументации, относящийся к области даже не риторики, а демагогии²³, но оттого не менее эффективный. Что примечательно, в более поздней своей книге, написанной по итогам Вьетнамской войны, Белл отчасти переосмысливает или, по крайней мере, перепрофилирует понятие о «неоднозначности»: отныне он называет «неоднозначность войны» причиной военных неудач²⁴. Впрочем, как отмечает Андерсон, Белл имеет в виду исключительно политтехнологические проблемы (поведение президента Джонсона, неудачное информационное сопровождение) и тактические неудачи на поле боя, из-за которых война «казалась» безнравственной; «Провал во Вьетнаме был скорее эпистемологическим, чем моральным» (с. 163). Здесь, по мысли Андерсона, проявляются еще две важные черты криптоимпериалистической риторики: мнимая технократия и отказ от этических оценок. Добавим, что в рамках фашизированного дискурса, ориентированного на милитаристский культ, допускается только такая критика «священных» войн: внеморальная, центрированная вокруг тактических эпизодов и отдельных личностей.

Статью Андерсона можно назвать центральной для сборника. Без нее многие положения и методические предпосылки других авторов не вполне ясны. Благодаря же Андерсону и его опоре на структурализм Миллса выявляется внутренняя логика всей «Риторике фашизма». Белл — классик либеральной социологии и убежденный антифашист; тем не менее, когда речь заходит об апологии этатизма и агрессии, элементы фашистской идеологической системы неизбежно, почти бессознательно проникают в его риторический аппарат. На этом примере, наиболее наглядном и рассмотренном с текстологической убедительностью, можно понять и следующий шаг составителей сборника: поиск типических тропов, характерных для фашизма, с проекцией на политическую ситуацию в условно постфашистском мире конца XX — начала XXI в. Другое дело, что этот «следующий шаг» в книге сделан с некоторой драматической поспешностью — в первой же статье, — тогда как обоснование и методические предпосылки раскрываются лишь постепенно, от темы к теме, в результате чего идея авторов выявляется в полной мере уже ближе к концу сборника.

Прежде чем подводить итоги, отметим еще две статьи. Одна из них — «Сбережение рода сельского» *Джейкоба Миллера-Клюгесгерца* — посвящена концепции «крови и почвы». Интерес к теме обусловлен тем, что на вышеупомянутых ультраправых шествиях в американском Шарлотсвилле звучал в том числе и лозунг: «Blood and soil!» Миллер-Клюгесгерц рассказывает о ныне полузабытом первоисточнике этого лозунга — книге Рихарда Дарре «Новое дворянство по крови и

23 Сам Андерсон иронически отмечает ту легкость, с которой все можно списывать на сложность проблемы. Демагогии посвящена последняя статья рассматриваемого сборника — «Обмануть искренне» *Райана Скиннелла*. Как показывает автор, речь фашистского (в данном случае — популистского в самом широком смысле) оратора в большинстве случаев, так сказать, нефальсифицируема, поскольку ее убедительность не лежит в сфере рационально-доказуемого, а целиком основана на вере в патристическую искренность говорящего. Фактологическое разоблачение лжи, мифов, пропаганды, конспирологии и подделок во многих случаях не эффективно, если целевая аудитория продолжает верить в главное: что фашист честен в своих государственных помыслах и любыми инструментами пользуется только «во благо нации». Соответственно, для поддержания нужных настроений фашистская пропаганда часто подтачивает само доверие к фактам (как к «вещи ненадежной») и акцентирует определяющую роль намерения.

24 *Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism. N.Y., 1976.* Характерно, как в этой работе Белл старается опускать само понятие «война», а также не упоминать об активном ведении боевых действий: речь чаще заходит о каком-то обтекаемом «предприятии», в которое Америка была опять же «вовлечена».

почве» (1930). Статья по большей части посвящена биографии Дарре (активного члена НСДАП с 1925 г., главы Управления СС по вопросам расы и поселения, с 1933 г. — рейхсминистра продовольствия, автора печального известного «Закона о наследовании»), разрабатывавшего в Третьем рейхе аграрную политику на идейном и практическом уровнях. «Новое дворянство» построено на образе благородного немецкого земледельца, противостоящего национально чуждым элементам: прежде его унизили антинемецкие власти прошлого, но ныне, рука об руку с национал-социалистами, он восходит к давно заслуженному общенародному признанию. Особый акцент Миллер-Клюгесгерц делает на поразительном расхождении между риторическими успехами Дарре и полным экономическим провалом, которым увенчивались все его сельскохозяйственные инициативы (закредитованность фермеров, взлет цен на фосфаты, неумелая механизация труда, крах свиноводства и т.д.). Связывая историю Дарре с современностью, Миллер-Клюгесгерц отмечает: хотя для нынешних ультраправых «кровь и почва» — это уже довольно общая деноминация «своих и чужих», не связанная напрямую с земледелием и сельской жизнью, но в националистических нарративах сегодняшнего дня все-таки прослеживается подспудная апелляция к селянам и аграриям — «простому народу» как наиболее «чистому» в расовом и культурном смысле (и одновременно, стоит добавить, наиболее уязвимо для политических технологий ксенофобского толка). В упрек Миллеру-Клюгесгерцу можно поставить местами вольное обращение с первоисточником. Например, в эпиграф вынесена такая цитата из книги Дарре: «Мы возделываем (здесь — *build*, дословно от *bauen*. — Д.К.) свои поля, дабы защитить ту землю, на которой стоим: ради наших детей и их детей. Это мы!» (с. 76). На самом деле, впрочем, это вовсе не слова Дарре, а процитированные им стихотворные строки (1898) Бёрриса фон Мюнхгаузена. «Это мы!» — название стихотворения (не часть строки), а в самом тексте ничего нет о «защите земли»; упоминается всего лишь забота о лесах: «Wir bauen unsre Felder, / Wir hegen unsre Wälder / Für Kind und Kindeskind».

Наконец, статья «Совершенство диктатуры» Фернандо Вальдивиа посвящена мексиканской Институционно-революционной партии (ИРП), основанной в 1929 г. Плутарко Кальесом и на тот момент инкорпорировавшей некоторые фашистские элементы; с тех пор, впрочем, партия отделилась от своих первоначал и до сих пор функционирует в мексиканском политическом поле, приняв демократические процедуры. Вальдивиа, впрочем, все равно считает партию, что называется, криптофашистской: «Даже в будто бы демократическом обществе фашизм может скрываться в централизованных институциях с их врожденной авторитарностью; фашизм таится в восхвалении всего неизменного, в попытках утвердить законевающие механизмы, возносящие стабильность над переменами. Что отличает ИРП... от собственно фашистских режимов, так это способность маскировать авторитаризм в демократической системе и таким образом дерадикализоваться: это и не фашизм, и не демократия... ИРП умело отстранилась от личности Кальеса, мифологизировала революцию и встретила в неизменные структуры какую-то долю перемен: все это указывает на сложную взаимосвязь с демократией» (с. 124). Как видим, Вальдивиа, в отличие от Гершберга и Иллинга, не склонен рассматривать фашизм как «побочный продукт» демократической системы. В техническом, методическом смысле особенно интересен раздел, целиком посвященный речи Кальеса перед Конгрессом Мексики (1928); пожалуй, такого внимания к завершенным ораторским формам не хватает многим другим частям книги.

Одна из сильных сторон рассмотренного сборника — это умение авторов выявлять проблемы и признавать сложности в рамках собственного подхода. Так, последний раздел — послесловие Патриции Робертс-Миллер — посвящен дилеммам

современного антифашизма. Провозглашение политических оппонентов фашистами — это средство обоюдострое, и сам метод открыт для разного рода злоупотреблений (достаточно сказать, что современные фашисты неизменно клеймят фашистами всех вокруг, и само по себе развешивание «токсичных» ярлыков — это излюбленный метод фашистских ораторов²⁵). Подобная авторефлексия, умение деконструировать диффамационные риторические тактики, не превращая сам метод в прием и в общее место, — вот, пожалуй, главное, к чему следует стремиться в современном антифашистском дискурсе. Авторам «Риторики фашизма» это в основном удается. От типологического «фашизм — это риторика и поэтика» остается один шаг до деспотического «риторика и поэтика — это фашизм», и авторам хватает внутренней свободы, чтобы этого шага не сделать и даже предупредить о его вредности. Да, первыми фашистами были, конечно, поэты. Первое фашистское государство — Фиуме, или Регентство Карнаро, просуществовавшее около трех месяцев в 1920 г., — называлось «республикой поэтов», а основал и возглавил его сам Габриэле д'Аннунцио. Но, как известно, еще Платон отказал риторам и поэтам во вхождении в свое «идеальное» государство. И оно тем не менее стало прообразом всех будущих тоталитаризмов...

Широкий обзор, охватывающий два века и несколько континентов, позволил выявить конкретные черты «вечного фашизма» (У. Эко). Практический вывод заключается, пожалуй, в следующем: культур, принципиально свободных от фашизма и фашистских тенденций, зарождающихся сверху и снизу, не существует. Не бывает иммунитета, невосприимчивости и исторических прививок: как только общественное сознание автоматизируется, архаизируется и склоняется к повседневной ненависти, оно — под действием разных мифологем и под разными предложениями — фашизируется. Предложенная авторами система имеет приложение и в исторической науке, и в международной политике, но в первую очередь она позволяет читателю критически оглядеть современность и изнутри оценить собственные установки, собственное государство и собственных героев.

25 Отрицательным примером здесь служит статья *Брэдли Сербера* «Собачий свисток и собачий вой», в которой, с одной стороны, описываются фашистские речевые техники по расчеловечиванию оппонентов (в том числе их приравнивание к животным), а с другой — применяются в отношении риторики самих ультраправых такие термины, как «собачий свисток» (искусство полунамеков, уловить которые может только целевая аудитория) и «собачий лай» (открытая проповедь радикализма). Сам автор, кажется, под конец понимает эту проблему и пытается разрешить ее в миролюбиво-ироническом ключе, но в общем контексте это уже не срабатывает.